

ТРИ СТОЛИЦЫ

Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь богатая парадоксами — разрубила ее по славянофильски. Впрочем, сама проблема, со времени Хомякова и Белинского, успела изменить свой смысл. Речь идет уже не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Красный Кремль — не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член антитезы, западничество, и в поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духовной силы. Он все еще мучительно боится о России и решает ее загадку: более, чем когда-либо, она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубежная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится ясным: Москва и Петербург еще не изжитая тема. Революция ставит ее по новому и бросает новый свет на историю двухвекового спора.

I

Как странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга, из глубины Николаевских годов: Петербург — чиновник, умеренно-либеральный, европейски-просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приехавших на берега Невы обивать пороги министерских канцелярий, до самого конца смотрели так на Петербург. Оттого и не жалеют о нем: немецкое пятно на русской карте! Уже война начала его разрушение. Похерила ненавистный «бург», эвакуировала Эрмитаж, скомпрометировала немецкую науку. Город форменных вице-мундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев — революция слизнула его без остатка.

Но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные, смертные годы 1918—1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то «чрево» столицы. Бесчисленные доходные кубы, навороченные бездарными архитекторами четырех упадочных царствований, — исчезли с глаз, превратились в руины, в пещерное жилище доисторических людей. В городе, осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и муслелей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болото гранитом, разбросал греческие кортики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов, и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?

Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально-безумное, предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди «топи блат»; железо кесарей несет смерть православному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба, и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли?

Петербург выбрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коия и всадника его свергнул в море».

При покорном безмолвии Руси, что заполняет трагическим содержанием петербургский период? Борьба Империи с порожденной ею культурой, — еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с сыном, — не трудно узнать фамильные черты: тот же дух системы, «утопии», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв от матери-земли. В революции слабее отцовские черты гуманизма, зато сильнее фанатические огоньки в глазах — отблеск

материнской веры, но, пожалуй, сильнее и тяга к ней, забытой, непонятой матери. Народничество — болезнь этой неутоленной смятой любви. Отец не знает ни любви, ни тоски по ней. Он довольствуется законным обладанием.

Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змий, кто змеиборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров — как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца обвились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей. Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчился два звериных трупа.

Империя умерла, разложившись в невыносимом зловонии. Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где бы не было Музея Революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище. Дворцы царей — тоже музеи. Да и вся Европа превратилась в сплошной Музей Русской Империи — или, что одно и то же, в ее кладбище. Когда ходишь по Зимнему Дворцу, превращенному в Музей Революции, или по Петропавловской крепости, то начинаешь уже путать: чьи это памятники и чьи гробницы: цареубийц или царей?

Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая, под тяжким давлением прессов, эссенцию духа. Небо без солнца, промозглая жижка под ногами, каменные колодцы дворов среди дворцов и тюрем, — дома-гробы, с перспективой трясины кладбища, — туберкулез и тиф, изможденные лица тюремных сидельцев... И закон жизни — считай минуты, секунды, беги, гори, колотись сердце, пока не замолчишь навсегда! Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отсечения — от солнца, от земли, от радости. Ухереть для счастья, чтобы родиться для творчества. Непримиимо враждебный всякому язычеству, не взирая на свои римские дворцы, он требовал жизни аскета и смерти мученика. Над каждым жильем поднимался дым от человеческих всесожжений. Если бы каждый дом здесь поведал все свое прошлое — хотя бы казенной мраморной доской — прохожий был бы

подавлен этой фабрикой мыслей, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы — есть такая странная порода людей — умели как-то приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души. Они остряли над жизнью и смертью, уверенным мастерством заменяли кровь творчества — шлифовальщики камней, снобы безукоризненного. Спасибо мэтрам неряшливой, распущенной России, но не ими оправдываются граниты Невы и камни Петропавловской крепости. Провинциалы, умиравшие здесь, лучше их слышали голос Петербурга.

Да, этот город торопился жить, точно чувствовал скупые пределы отмеренного ему времени. Два столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой жизни! За это столетие нужно было, наверстав молчание тысячи лет, сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках агонии, это слово бывало часто горьким, болезненным? Аскетизм отречения Петербург простер — до отречения от всех святынь: народа, России, Бога. Он не знал предела жертвы, и этот смертный грех искупил жертвенной смертью.

Россия приняла факел из его хлodeющих рук. О если бы он не потух на ветру ее стениых дорог, не заглох под мерою косного, уютного быта, не разошелся на тысячи мелких свечечек!..

Чем же может быть теперь Петербург для России?

Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени насыпан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеется целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть этих сокровищ из старых стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли рождаются в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времен Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли.

Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный морской ветер, — почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он Петровской столице, но и дух дальних странствий. Пройдитесь по последним линиям Васильевского Острова или к устью Фонтанки, на Лопманский островок, — и вы увидите просвет моря, отшвартованный пароход, якоря и канаты, запах смолы и соли, — и сердце дрогнет, как птица в неволе. Потянет в даль, на чудесный

Запад, омытый Океаном, туда, где цветут сады Гесперид, где из лона вод возникают Острова Блаженных. Иногда шепчет искушение, что там уже нет ни одной живой души, что только мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил», неосуществленной мечты о свободной человечности. Тоска велих материков — Евразии — по Океану скопилась здесь, истекая узким каналом Невы в туманный, фантастический Балт. Оттого навстречу западным ветрам с моря дует вечный «западнический» ветер с суши. Петербург останется одним из легких великой страны, открытым западному ветру.

Не сменил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? Мы в школе затвердили: «Шлиссельбург-Орешек», но только последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все пришлое, наносное в нем, — и оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть православный Петроград, столица Северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поисках картошки!) исколесили свои уезды, и что же нашли там? На предполагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб, не уступающую вологодским... И среди этих изб Старая Ладога с варяжскими стенами, с древнейшей росписью, память о новгородских крепостях — Ям, Копорье, Ивангород — о шведских могилах — следы вековой тяжбы племен. Ижорские деревни, эстонские хутора среди славянского моря говорят о глухой, но упорной этнографической борьбе, борьбе деревьев, сплетающихся ветвями в глухом лесу, ствоевывая у чужих пород каждую пядь почвы, каждый луч света. Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближних и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну. В ту пору отмирали кровеносные сосуды по всему телу России, и с особенной ясностью прощупывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувствовали тогда: Москва на краю света, Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда. Пока мешечничал обыватель, искусствоведы, этнографы исколесили всю Северо-Восточную Русь,

чья говоры сливаются на питерских рынках, и связи эти не заглухнут.

В последние годы перед войной повгородские церковки и часовни одна за другой начали возникать по окраинам столицы — памятник новых художественных вкусов и *древней народной религиозности*. Интеллигенция почти не замечала народного православного Петербурга с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной — быть может, как нигде в России — атмосферой пламенной веры. Только скандалы хлыстов или братьев привлекали внимание. Теперь остатки старой интеллигенции вросли в этот народный церковный массив и внесли в него чистую пламенность новых культурных катакомб. Есть верная молва, что в последние дни Оптиной Пустыни один из ее старцев послал свое благословение Петрограду, «самоу святому городу во всей России».

Богат и сложен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как мог он совместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, восресли в старом и новом Петербурге.. Васыка Буслаев предсказал уже нигилизм, как Садко, гуслиар и купец -- вольнолюбивое, широкое творчество. Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу, чего не понять никому, кроме города святого Петра. Первое — завет Александра: не сдавать Невской победы, оборонять от ливонцев (ныне финнов) и шведов невиские берега. Второе. Хранить святыни русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье. Слушать голоса из-за моря, не теряя из виду ганзейских маяков. Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния — в вечной борьбе — не бывать и русской культуре. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышнее историческая задача, здесь остается, если не мозг, то нервный узел России.

II

Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздрают, не мучают, как-то легко уживаются в нарядной полнхромии. Каждый найдет в Москве свое, для

себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым.

Многоцветность архитектурных одежд, слои за слоем, как луковичу, покрывают тело Москвы. На каждой печать эпохи — настоящая ярмарка стилей, разбросанная в зелени садов под вольным небом и ласковым солнцем. Сама история утратила здесь свою трагическую тяжесть, лаская глаз пышностью декораций. За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева — и такую любил ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва, сердце России, любовь ее, не похожа на строгую царскую Москву, но новое чувство Москвы органически переработало памятники царского времени, утопив их в мягком свете благочестивых воспоминаний.

Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив — и ничего не создав в ней. Она лишь искадила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом. С тех пор город живет, как в лихородке — только не красной. Стучат машинки, мчатся форды, мелькают толстовки, механки, портфели. В кабаках разливанное море, в театрах балаган. В учреждениях белчий бег в колесе. Ворочают камни Сизифы, распускают за ночь, что наткали за день, Пенелопы. Здесь рычаг, которым думали перевернуть мир, и надорвались, нажив себе неврастение. Осталась кричащая реклама, порою талантиливая, безумно смелая, которая облепила Москву, кричит с плакатов, полотнищ, флагов, соблазняет в витринах окон, играет электрическими миражами в небе. «Нигде, кроме, как в Моссельпроме»... «Пролетарии всех стран... покупайте облигации выигрышного займа!»

Но ступите шаг от Тверской, от Никитской, и вы очутитесь в тихих, мирных переулочках, где редко встретишь прохожего, где гуляют на солнышке бабушка с внучком, вспоминая минувшие дни. Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему чист снег, и яркие звезды, по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая, старая няня, убаюкает истерзанного россиянина.

За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы, мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы заросшие травой, где

можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом, и услаждаться пенным кенара или граммофона, в зависимости от духа времени. Замоскворечье и сейчас огромный провинциальный, едва ли не уездный, город, во всей его нетронутости. А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном амьпире — разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши Пензенских и Тамбовских деревень? Хотите видеть теперь, воочию, как жили в них поколения наших дедов? — Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей Площадке, где, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие гоголки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полка с книгами: все больше немецкие, романтики да любомудры. Если Бог уберезет вас от экскурсии «с классовым подходом», и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства.

Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух истекших столетий таков: не отделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На нем лежит печать светлой наивности, доброй, здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства, — зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалуют отсталого, но многого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лойяльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу, не по идеям, всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое московское просвещенное охранение. Забелины, Саярины, Шниовы до последних дней отрицали «средостение», мечтали о Земском Соборе и земском царе. Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем «Русской Мысли» и ходил церковным старостой. Здесь именитое купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков.

Эта милая обывательская Москва не воскреснет. Лихорадящий Петербург и обломовская Москва — дорогие покойники. Но за последнее человеческое поколение Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнялась с Петербургом, как центр научный, и обогна-

ла его, как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась обскákat Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоповейшие слова. Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом. По сравнению с Петербургом, здесь можно было скорее встретить «почти гениальное», но никогда — безукоризненное. Новая Москва работала широко, торопливо, и не любила доделывать до конца. Философы без метода, блестящие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин... Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного бесвкусия.

Новая большевистская Москва уродливо продолжает эту «метропольно» - кабацкую традицию. Современное творчество Москвы так же относится к до-революционному, как дутый Нэн к размахистому индустриализму довоенных годов. И это на фоне все той же безответственности. Политическая мысль Кремля столь же далека Москве, как была далека государственная мысль Петербурга.

И все же основное русло нашей культуры пролегает именно здесь. Сюда несет свои воды русская провинция — особенно Юг и Восток. Здесь верят в будущее, захлебываются настоящим — пусть подурячки, — и не в силах вырваться из власти прошлого. Здесь стены слишком насыщены воспоминаниями, чтобы ультра-модерные жильцы могли уцелеть от их заразы. Мечтающая стать Америкой, Москва в плену декоративных чар XVII века. Москва-модерн, быть может, более Москвы ампирной... Метрополь на фоне Китай-города понятнее Большого Театра. И это ставит вопрос о качестве культуры древней Москвы.

Что говорят нам фасады и купола ее бесчисленных церквей? Конструктивно — перенесенный в камень северный шатер да Владимирский куб, отяжелевший, огрузивший с пышно изогнутой восточной луковницей. Нет новых идей, нет и строгости завершений. Нет ничего, что взволновало бы присутствием подлинно-великого искусства. В Москве есть несколько чудесных церквей. Но, ведь и очарование нарышкинского стиля только в его декоративности. О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве! Архитектурно-бессмысленная идея Василия Блаженного разрешена с удивительным мастерством. Самые грузные и грубые формы согреты и оживлены яркой живопис-

ностью. Чтобы вполне оценить декоративный эффект лубочного искусства в его ансамбле, нужно видеть Троицкую Лавру. Когда я пишу эти слова, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического навождения, перед которым бессилён в Москве. Хочется целовать эти камни и благословлять Бога за то, что они ещё стоят. Но, вдумавшись, видишь, что это художественное впечатление не глубоко, что его идея бедна. Как назвать её? умилением? — нет. Стоит увидеть эти формы, хотя бы в недалёком Угличе, где ещё чувствуется дыхание Севера, чтобы понять, каков может быть чистый религиозный смысл этого искусства. Московские кокошники, барабаны, крыльца и колокольни — как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачевые рубахи, шапки набекрень, гуляющая, веселящаяся Русь! Это идеал великорусской, парадной граздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого и строгого древне-русского искусства. — Непонимание этого факта натворило много бед делу нашего национального возрождения. Подражать Москве — значит обрекать себя на педантическую пошлость: таково «русское возрождение» Александра III.

Беда Москвы в том, что искусство её слишком неполно выражает её историческую идею. В ней сказалась показная пышность царской власти да бытовая, праздничная сторона уже оплотневающей народной религиозности. Где же искать нам величие старой Москвы?

Попробуем подойти к Кремлю. Отрешимся от мишуры «никлаевской готики», от шума людных площадей, от обступивших небоскребов новой Москвы, — обойдем, лучше всего ночью, окружность его стен и башен, — и, может быть, тогда, за лубочной декоративностью Кремля, мы почувствуем его тяжкую мощь. А если вообразим себе старую деревянную («Васнецовскую») Москву с её лабиринтом клетей и теремов, то эта каменная твердыня, словно орел упавший с облаков в сердце нищей России, покажется грозным чудом. Тени Ивана III и Ивана IV встанут над древними стенами, столько раз облитыми кровью — врагов Руси и царских недругов. Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле — всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля: повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа живет в кремлевском дворце, под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взыздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расплзтись по безбрежным просторам.

Обойдите когда-нибудь в летний день кольцо южных московских монастырей-сторож: Донской, Данилов, Симоноз. Поднимитесь на гигантскую колокольню Симонова, и, окинув взглядом безкрайнюю равнину, вы поймете географический смысл Москвы и ее историческое призвание. Северная лесная Русь, со своими соснами, остатками некогда дремучих лесов, добегаает до самого города, защищает его, создает ему надежный тыл. Москва питается северной Русью, ее духовными силами, ее трудовой энергией, но, чувствуя ее за плечами, она смотрит — на Юг и Восток. Эти колокольни — крепости вглядываются зорко в безлесную (ныне) равнину, по которой расходятся лейты дорог: на Калугу — Смоленск, Коломну — Рязань, на Нижний, Саратов. Здесь, за Ордынкой, пролегала дорога в Орду. Отсюда ждали крымчаков. Степь набегала в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться у московских стен. И отсюда Москва посылает, рой за роем, своих стрельцов и детей боярских в остроги на Дикое Поле, в вечной борьбе со степью.

Но странная эта борьба: она как будто чужда ненависти. Овладевая степью, Русь начинает любить ее; она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «кормилицей». Здесь, в Москве, до Волги рукой подать: до Рыбинска, до Ярославля, до Нижнего Новгорода. Порою кажется, что Москва сама стоит на Волге. То, что Москва жала в тройном кольце своих былых стен, то Волга развернула на тысячи верст. Умиление Углицких и Костромских куполов, крепкую силу раскольниковьего Керженца, буйную волю Нижнего, Казани, Саратова, разбойничью жуть Жигулей, тоску степных курганов, поросших полынью, и раскаленное море мертвых песков: ворота Азии. В сущности, Азия предчувствуется уже в Москве. Европеец, посетивший ее впервые, и русский, возвращающийся в нее из скитаний по Западу, остро произнесены азиатской душой Москвы. Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи — колыбель новой русской души. В стенах сложилось казачество (даже имя татарское), которое своей разбойной удачей подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В стенах сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда, как о чем-то исконном и вечном. Ширь русской природы и ее безволие, безудержность, порывистость, — и тоска, и тяжесть, и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка («и какой же русский не любит быстрой езды»), кутежи, цыганские песни, «безсмысленный русский бунт» и мученический подвиг и

надрыв труда. В природе Азия живет дух тяжести. Туранскую безблагодатную стихию он гнетет к земле, то закигая пожарами страстей, то погружая в дремотную лень. Для религиозного гения славян дух тяжести — тема творческого преодоления, как грудь земли для пахаря. Микула подымает «тягу земную», которой не поднять удалому и хитрому витязю. В этом тема русского творчества. Старая Москва не могла художественно осмыслить свое призвание. Это сделал Толстой, в котором воплотился гений Москвы, как в Достоевском гений Петербурга.

Ныне тяжесть государственного строительства России опять ложится на плечи Москвы. Конец двухвековому покою и гениальному баловству. На милое лицо Москвы ляжет трагическая складка, наследие освобожденного Петербурга. Опять Москва на-стороже, — и как должны быть зорки ее глаза, как чутки и напряжены ее нервы! Все, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира — все будет отдаваться в Кремле. С утратой западных областей, Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить под'емом целых материков. Ее долг — просветлять христианским славянским сознанием туранскую тяжелую стихию, в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии. Да не ослабеет она в этом подвиге, да не склонится долу, побежденная — уже кровным и потому страшным — духом тяжести.

III

Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России, преодолеваемые живым национальным духом. В соблазнах зреет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье в борьбе двух и над нею, — магнитный полюс, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной, православной вехой в судьбе России, является Киев: то-есть идея Киева.

О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от Киевской славы и бесславия, ведя свой род с Оки и с Волги. Мы сами отдали Украину Грушевскому и подготовили самостийников. Стоял ли Киев когда-либо в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт: новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме «Печерских антиков» да слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве

величайшую святыню, не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя.

Для северянина Киев не только святыня, но и город прекраснейший всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первозданною красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмов старого Киева, Печерска, Щековицы — отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайная ширь, от которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее зарывались в пещеры, из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая осанна земного рая? И потому прошел мимо нее сезерный поэт, принимающий красоту только в аскетической строгости. Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все? Изумительная особенность киевского гордского пейзажа — это вторжение в него природы, почти нетронутой человеком. Над людным Подолом, над старыми — с Ярославских времен! — «Гончарами» и «Кожемяками» высятся необитаемые, обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Щековице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы манят в даль, во все стороны света — трудно засидеться здесь на горах: на Запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже не далекой, на Восток, сквозь черниговские леса, на Москву, и больше всего, конечно, на Юг, куда змется серебряная лента Днепра — за пороги, к степям половецким, к Черному, «Русскому» морю, к святой Греции.

Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь! Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенной обломками древности. Человек каменного века уже облюбовал эти холмы, уже гнезвился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует так же, как пространство, зайдите в богатый Археологический Музей подивиться останками множества народов, наших предков на Киевской земле. Киммерийцы, скифы, люди не имеющие имени для нас... И среди них, древнее всяких скифов, те таинственные «трипольцы», которые обжигали здесь горшки на своих «площадках», прежде чем спуститься на Балканы, чтобы строить по берегам Архипелага Эгейскую культуру. Уже позволительно думать, что Киевские горы

были родиной будущих эллинов. С этих холмов, с черепками в руках, быть может легче, чем где бы то ни было, обозреть древнейшую историю Европы. Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уводят здесь воспоминания в седую древность!

Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н. Я. Марр отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и сестре их Лебеди — с тождеством самих имен, и вероятным становится незнамятно-древнее, «яфетическое» ее происхождение.

Все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывается со старых насиженных мест, с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кня?), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) на Киселевке, русский правительственный Киев на Печерске, и современный, всего более еврейский город — Киев, с упадком Одессы, столица русского еврейства, — сливший старые островки и раздавшийся в степь по плоскогорью.

Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко, на Мазепинском Никольском соборе — улы, безжалостно изрешетенном ядрами гражданской войны — это барокко не лишено и благородства. На Подоле обстует рой почтенных воспоминаний: магистрат с магдебургскими вольностями, Академия Петра Могилы — бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда, сквозь толщу Восточной Европы, доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борются с ополячением, но не могут снасться от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом возрождении XVII века: Малороссия сознает себя, как мятежная Украина, окраина Польши.

Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подсаждать, когда оно облегло, точно слоем жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания

о национальном пробуждении Украины-Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной, великой эпохе киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славянско-варяжские терема золотое небо св. Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший в более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри — стоят, вплоть до самых куполов своих, с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему — неповрежденная внутри, девственно чистая св. София.

Быть может, южно-русский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образом русской идеи храма, достигнутым на Владимирском и Новгородском Севере. Но в св. Софии — едва ли не единственный раз на русской земле — воплотилась идея греческая. Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символической, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно об'емля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, безконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой св. Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи и р а в о с л а в и я .

Большинство киевских мозаик — как, впрочем, и римских — не представляют самых совершенных образцов византийского искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но последние годы под слоем известки — в Софийском соборе, в Спасе на Берестове — вскрыли ряд фресок-иконов, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства — как в Santa Maria Antiqua или перед лицом энкавстических иконов, — словно не даром вывезенных с Синая в Киев, как редчайшая драгоценность, епископом Порфирием. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.

Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью-Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый туранской волной, он не сумел спасти во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе св. Софии был дан ему вечный символ — не только ему, но и всей грядущей России.

О чем говорит этот символ?

Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, об'емлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.

В жизни России было не мало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге — раствориться в германо-романской, т. е. латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не бусурманство, а эллинизм. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначущей случайностью. Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды не приносило славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской — через восточно-греческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти — культа, культуры — и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство — хочет оно этого или не хочет — не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции — Византии живет Греция классическая, созревающая ко Христу, и ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву, как первенцам и законным наследникам.

Неизбежный и для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, т. е. латинское посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духов-

ная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности.

Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий — то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции, и больше нигде, связываются в один узел все пути мира. Рим ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре и на закате ее истории — в Микенах и в Византии — обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы отрываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток ни Запад. Весь мир обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который повесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.

Е. Богданов